

случайно вырвавшийся вопрос неожиданно приобретает для него важное значение.

— Люба, ну скажи... Я очень хочу знать!

Она, помолчав, говорит робким шепотом, не поднимая глаз:

— Я знаю ее, маму... Понимаешь, не любит она тебя, не нравишься ты ей. Но ты не обижайся на нее, ладно?

— Вон как...

И раньше он смутно догадывался об этом, но успокаивал себя тем, что неприязнь Устиньи Семеновны — плод его фантазии.

— Что же нам делать? — спрашивает Андрей, подумав, что решать-то в конце концов должны они, а не Устинья Семеновна. — Может быть, найдем квартиру и уйдем, а, Любаша?

— Нет, нет! — торопливо обрывает его Любаша. — От мамы я не пойду, Андрей... Да и ничего еще неизвестно. Может, согласится она, надо просто хорошо с нею поговорить. После как-нибудь...

И снова их окутывает безмолвие, но теперь в молчании есть что-то неустойчивое, напряженное... Оба вздрагивают, когда на улице, у соседнего дома, резко таякнула собака.

— Идем домой, — глухо роняет он.

Любаша кивает: да, идем... И первая шагает от прясла к тропке.

Неожиданно навстречу им юркает тень. Любаша вскрикивает, отпрянув.

— Стой! — бросается за человеком Андрей. Он почти сразу же нагоняет бежавшего, рывком останавливает его, крепко держа за рубаху.

— Фу ты, черт! — Пойманный — всего лишь подросток. — Чей ты, парень? — переведя дыхание, спрашивает Андрей.

Слышатся торопливые шаги Любаши. Мальчуган рвется из рук.

— Подожди, подожди... Сейчас вот хозяйка подойдет. Выбрось хоть подсолнухи-то, чтоб меньше влетело... Ну, чей ты? Зачем в чужой-то огород полез?

— Лыжиных, Лушкин брат... — скороговоркой отвечает мальчуган, отбрасывая в сторону одну за другой подсолнечные шляпки. — Пусти, дядь, а то неловко из-за пазухи вынать подсолнухи.

Андрей на мгновение расслабляет руку, и паренек резким рывком отскакивает от него, мчится к озеру.

Рассмеявшись, Андрей кричит ему вдогонку:

— Завтра я тебе задам перцу! Не попадайся лучше!

Сказал это лишь потому, что Любаша подошла: захотелось угодить ее хозяйскому самолюбию — не посторонний, мол, я человек.

— Кто был? — останавливается она рядом.

— Лыжиных парнишка...

— Василек это, Лушкин братишка, — вдруг из темноты дополняет чей-то мужской голос. — Надо было уши надрать за проделки.

Андрей настороженно глядит в темнеющее рядом прясло огорода, но Любаша резко тянет его за рукав.

— Идем! — шепчет она. — Опять Груздев шпионит за нами... Чего не в свои дела лезет?

Оба молча и торопливо идут к калитке.

И вот он — разговор.

Устинья Семеновна властным жестом останавливает Андрея, увидев, что он направляется в свою комнату.

— Подожди-ка, — и оборачивается к Любаше, замершей у порога: — С тобой я еще, милая, поговорю... Да и Гришка, старшой-то брательник, добавит тебе... Ну, а ты, мил-человек, — отчеканивает она Андрею, — можешь искать себе другую квартиру. Мне таких постояльцев не надо! Сроку тебе — неделя! Получка у вас скоро, рассчитаешься со мной, и — на все четыре стороны. И вот что еще... К девчонке больше не приставай, не мутит ее душу! Надоумил господь, послушала раза два аль три, какую ересь ты плетешь...

— Устинья Семеновна... — шагает к ней побледневший Андрей, но та останавливает его все тем же властным жестом:

— Уговаривать меня нечего, я век прожила, знаю, что делаю...

И, отвернувшись к печи, забренчала там чугунками и сковородками, давая понять — говорить больше не о чем.

Как же дальше?

Затихли шорохи и вздохи на голбце печи, где улег-

лась Устинья Семеновна. Ни звука — из комнаты, в которой спит Андрей.

Густо плывут по комнате темные тени, они наслаиваются одна на другую живыми кругами, сквозь которые глаз не может различить ничего. Любаша скорее угадывает по памяти, чем видит: там вон — печь, где затихла мать, в этой стороне — дверь, а тут — буфет... Она поднимает руку, несет в темноте к глазам, ощущает на ней свое теплое дыхание.

Как же дальше?

«Господи, — мысленно обращается к богу Любаша, широко раскрытыми глазами глядя в черную темноту. — Помоги мне, пусть мама поймет, что он хороший, что не могу я без него... Я буду добрая, очень добрая и ласковая с ней, ведь я и раньше никогда не говорила ей плохого слова. Помоги мне, господи, помоги-и...»

Они всегда переплетаются в душе Любаши: мама и бог. Сколько помнит себя Любаша, безотчетный трепетный страх перед таинственным, грозным существом, которому известен малейший человеческий помысел, входил в ее сознание через окрики и наставления мамы. Проницательность Устиньи Семеновны, часто верно уличающей дочь в каком-либо проступке и призывающей при этом в свидетели бога, с годами незаметно укрепила беспокойную веру в то, что господу и действительно все известно. Иначе, как могла знать мама о том, чего никто не видел?

Веру во всемогущество господа укрепило и то благоговейное отношение к богу, которое встречало и окружало Любашу в церкви среди взрослых, умудренных жизнью людей. Она полностью доверилась их опыту.

Нет, не случайно просила сейчас Любаша могущественного заступника. Сердцем верила — он слышит ее мольбу, он видит, как она мучается.

В мысли снова врывается неотступное: одна неделя, а потом... Вот Андрей идет по улице с чемоданом, оглядывается, и в глазах его видит упрек и печаль... Нет, нет, он не уйдет, она расскажет все матери... А разве захочет тогда мама выгнать его?

И сразу приходит успокоение. Нет, это даже не успокоение, а обрывочные грезы о недалеком и счастливом будущем, которое придет сразу же после свадьбы.

После свадьбы... Да, да, и Андрей так хочет, чтобы

все это пришло к ним быстрее... Разве они хуже других людей?

Неожиданно от голбца, на котором спит мать, слышится не то вздох, не то стон. Любаша приподнимается на локте и долго смотрит туда. Все тихо. Наверное, матери во сне привиделось что-то плохое.

И грезы исчезают. Любаша откидывается на подушку, вдруг подумав, что все может быть не так, как ей мечтается. Ведь еще ничего не решено, а через неделю Андрею надо уходить, мать слов на ветер бросать не любит. А там придет Григорий со своими свинцовыми кулаками и... Как сказать им, что она уже стала женой Андрея? А надо, надо сказать, иначе...

Но перед глазами всплывает искаженное усмешкой лицо матери, и Любаша до боли закусывает губу.

«Ни девка, ни баба, а — потаскуха!» Эти слова матери уже звучат в ушах Любаши.

«Пусть! Пусть! — запальчиво возражает она. — Я люблю его, люблю, люблю! И он меня любит, ясно? Нам жить, а не вам...»

Храбрости хватает ненадолго. Недобро мерцающие глаза матери неотступно смотрят в лицо дочери, и Любаша натягивает одеяло на голову. Но теперь в уши бьются резкие, хлесткие слова, холодят сердце, а Любаша даже сама с собой ничего не может сказать в ответ...

Вконец измученная, она всхлипывает, садится на койке и беззвучно шепчет:

— Андрей, Андрей мой... Что же делать, что нам делать? О, господи, помоги мне!

Вялая, обессиленная, снова падает на подушку, шепчет, стараясь забыться, что-то похожее на молитву, и засыпает, наконец, тяжелым, тревожным сном.

2

Сухо и дробно звенит будильник. Сонный Андрей, протянув руку, глушит его.

Два часа дня. Но кажется, что уснул только сейчас. Спать всю ночь не пришлось — все раздумывал над словами Устиньи Семеновны.

За окном глухо фыркнул и смолк мотор автомашины.

«Сосед приехал, — натягивая брюки, скользнул он

глазами по окну, и в памяти всплывает безбровое, с белесыми ресницами, обветренное лицо Ванюшки, работавшего шофером в местной автобазе.— Домой опять что-то приволок. Тянет понемногу — то пару досок, то кусок толя, то угля с десятков ведер, а никому дела вроде и нет».

Мысли о соседе неприятны, не лежит у него душа к такому человеку.

Выйдя на крыльцо, он жмурится, не в силах сразу окунуться после дремотной тишины комнат с зашторенными окнами в яркий, солнечный полдень. Воздух звенит от зноя, глухо, отдаленно слышится дребезжащий перестук проезжающей по булыжной мостовой телеги, чей-то нетерпеливый, сердитый возглас.

«Эх, и жара!» — вздыхает Андрей и вытирает ладонью влажную испарину на лбу.

В глубине двора бродят, лениво вихляя округлыми спинами, две большие свиньи. Одна из них, вытянув короткое толстое рыльце и пригнувшись, приближается к тазу, где сохранились остатки собачьей пищи. Протяжно звякает цепь, Рекс делает прыжок. Свинья с визгом шархается в гущу кур и гусей.

— Рекс, на место! — вдруг слышится из огорода.

Любаша стоит на тропке и, стараясь не сойти с травы на грядку, тянется к нависшей над нею шляпке подсолнуха. Короткое простенькое платье, из которого она явно выросла, красиво обрисовывает изгибы крепкого тела.

— Ромашка ты моя... — неслышно говорит Андрей.

Ему очень хочется, чтобы подсолнух оказался, наконец, в ее руках. А она, и не подозревая, что кто-то смотрит на нее, гибкая и красивая, все тянется и тянется к подсолнуху, уже привстала на носки, уже касается пальцами желтого круга... Еще миг — и подсолнух в ее руке.

Любаша с удовлетворением, с почти детским торжеством оглядывается вокруг, оправляя тесное платье. Увидев Андрея, машет:

— Иди сюда!

Он косит глаз на Рекса и делает шаг с крыльца. Потом еще и еще, не глядя на собаку, но ощущая каждой клеткой тела ее настороженность.

Любаша делает торопливое движение навстречу.

— Ну, зачем же ты?.. Я позвала, а потом вдруг вспомнила, что Рекс не зацеплен на крюк.

— Да нет, вроде ничего, обошлось.

— Возьми, это для тебя,— протягивает Любаша подсолнух. Потом отступает назад, перекинув темную косу со спины на грудь, и начинает быстро перебирать пальчиками концы волнистых прядей, заплетая волосы. Сама с улыбкой, ласково смотрит на Андрея; на свежих щеках ее розовеет легкий румянец.

— Зачем же мне столько? — Андрей разламывает подсолнух.— Бери себе половину.

— Нет, нет, не хочу... Вон Ванюшке лучше дай,— громко, с усмешкой кивает она в сторону двора.— У них какие-то уроды нынче, а не подсолнухи выросли. Пусть испробует наших.

Андрей оборачивается к жердяной изгороди, отделявшей соседские участки. Раздвинув кусты смородинника, облокотившись на прясло, остро посматривал на них Груздев.

— Влюбляетесь? Ну-ну, валяйте!

— Дурак,— хмурится Любаша и неожиданно половину подсолнуха бросает в Ванюшку.

— Мимо! — хохочет тот. Кинув на прясло сильные, узловатые руки, он одним прыжком перемахивает на эту сторону, идет к ним по картофельным грядам, перескакивая через борозды. Невдалеке останавливается и, присвистнув, окидывает взглядом протянувшийся во всю немалую длину пименовского огорода участок, заросший подсолнухами.

— Ничего себе, отгрохала тетка Устинья.

Не ожидая ответа, вытаскивает из нагрудного кармана рубахи самодельный ножичек, какими обычно пользуются на работе электрики и шоферы, пригибает буйдиль крупного подсолнуха и срезает с него шляпку.

— Твое-то какое дело? — запоздало отвечает Любаша, вызывающе глядя на Ванюшку.— За своей матерью наблюдай, а за нами нечего смотреть.

— Эх, хорош подсолнушек! — подбрасывает Груздев кружок, а поймав, зажимает под мышкой и шагает к Андрею.

— Это, что ли, ваш постоялец-то?

Любаша опять хмурится.

— А то не знаешь, наверно. С неба спутник какой свалился...

— Чего — спутник? Первый раз вот так-то, носом к носу, встретились.

Груздев прав. Встречая Андрея случайно у ворот, он обычно проходил, не здороваясь: понимал, что этот симпатичный чернобровый квартирант может понравиться Любаше. А он, Иван, сам о ней многое загадывает... Поэтому и остро покалывает в сердце ревность, когда видит, вот как сейчас, их вместе.

— На обед? — осведомляется Андрей.

— Да вроде бы... — помедлив, отвечает Груздев и, с нескрываемой нежностью уставясь на Любашу, замечает шутливо: — Ну, невеста, когда же сватов засылать, а? Божий-то праздник, Покров день, не за горами.

— Фи... — кривит губы Любаша. — К козе вон к нашей засылай, хоть вечером сегодня. Ясно?

Груздев мрачнеет и тихо произносит:

— Но-но... Полегче на поворотах...

Андрей прерывает неловкое молчание:

— Ну, я на озеро...

— Ты подожди! — берет его за руку Любаша. — Мне половинки надо полоскать, вместе пойдем. Сейчас я! Маме скажу, она картошку в погребе перебирает. — И бежит к калитке.

Груздев нервно закуривает папиросу и протягивает пачку Андрею.

— Кури, — смотрит на него вопрошающими глазами. — Не хочешь? Ну смотри...

Он прячет папиросы в карман, потом, помедлив и не глядя на Андрея, говорит:

— М-да, занято получается... — усмешка змеится в уголках его рта. — Что это она в последнее время хвост вздыбила? Ты... башку ей, случайно, не заморочил? Лынет она к тебе, вижу я...

Андрей пожимает плечами:

— А это уж ее дело, Иван...

Груздев резко поворачивается, вприщур зло смотрит на Андрея:

— Ее? Не только... Не было тебя... За мальчишку меня принимаешь? Ну, вот что! Хотя... Что с тобой разговаривать?..

Он круто поворачивается и идет по грядам поперек огорода к плетню, и Андрей видит, как вдребезги раз-

летаются под его сапогами комья земли, сухо пощелкивая по ботве и падая с грядок в борозды.

«Любит он ее... И крепко...» — с непонятной тревогой думает Андрей о Груздеве. Любаша, пробежавшая от сарая к крыльцу, снова выходит из дома и, крикнув Андрею: «Я сейчас, сейчас!» — опять бежит к сараю, перекидывая через плечо коромысло.

«К матери. Отпустит ли Устинья Семеновна?»

3

В глубоком погребе душно пахнет древесной плесенью, картофелем и прелой капустой.

Устинья Семеновна ставит ведро на землю и чиркает спичкой. Слабый огонь освещает осклизлые бревенчатые стойки, бурые, словно закоптелые стены, кадушки и корчажки на полу, дощатые грязные перегородки и тут же гаснет. Она ощупью находит ведро и пробирается налево, к перегородке, за которой хранится картофель. Звякнув ведром о доски, останавливается, зашуршав спичками, зажигает огарок и, приладив его к консервной банке, прибитой для этого к одной из стоек, снова оглядывается вокруг. Погреб требует ремонта. Надтреснутые потолочные балки — в наростах грибка, почерневшие доски прогнулись, уже не выдерживая тяжести наваленной на них земли.

Устинья Семеновна стучит костлявым пальцем по стойке, чуть повыше прогнившего пролома в древесине. Из-под гладкой, пустотно отозвавшейся поверхности сыплется желтая пыльца.

«Эх, господи, все заменять надо: и потолок, и стойки,— вздыхает Устинья Семеновна, подставляя ведро к ногам и запуская обе руки, словно клешни, в кучу подгнившего картофеля у края перегородки.— К Гришке схожу вечерком. Сын — не чужой. Трудненько без мужика в доме стало, как Семка ушел на самостоятельную жизнь... Любку, что ли, хоть бы замуж выдать? Ванюшка-то соседский не зря у наших ворот пасется... Из себя, конечно, и не мудрен, да только хозяин настоящий выйдет!»

Сверху слышится стук двери сарая, потом в отверстие погреба просовывается голова Любаши.

— Мама, ты здесь?

— Ну...— недовольно глядит на дочь Устинья Семеновна.— Шляешься все... Давай-ка вниз... Картошку выбирать!..

— Подожди, мама,— перебивает ее Любаша.— Я сейчас на озеро, половики-то который день мокнут, надо их выполоскать.

— Все можно успеть,— уже миролюбиво говорит Устинья Семеновна.— Да смотри мне, долго там не будь. Надо к утру все приготовить с картошкой-то, завтра базар большой.

— Ладно, я быстро! — уже издали слышит голос Любаши.

«Чего это она, как баламутная,— размышляет Устинья Семеновна.— Не иначе — с Лушкой опять?..»

Лушка Лыжина живет через дорогу. Работает на шахте вместе с Любашей породовыборщицей. Позапрошлый год задумали они записаться в астрономический кружок. И, ясное дело, подбила к этому Лушка.

Как узнала про тот кружок Устинья Семеновна, такое устроила обeim, что с тех пор Лушкиной ноги в пименовском дому не бывало.

«Неужто с Лушкой? — испуганно оглядывается Устинья Семеновна.— В одну смену, кажись, они... Пойду-ка я разведая, да заодно и к Гришке схожу...»

Тревожится Устинья Семеновна не понапрасну. Во время обедни снова видела в церкви белобрысую девицу из комсомольского комитета — Копылову. А возле нее закружились с улыбочкой Лушка с двумя девчонками со старого Тугайкуля.

«Накрепко отвадить надо Любку от Лушки.— Устинья Семеновна приминает заскорузлыми пальцами огонек на свечке, и теперь твердость в ее взгляде железная.— Добра от такой подружки не жди... Охо-хо, господи, вечно в зоте, вечно в заботе...» — огорченно закачала она головой.

Выйдя из погреба, Устинья Семеновна проходит в огород, где мокли в корыте половики, проверяет, взяла ли их дочь с собой. Половнков там нет, и это немного успокаивает старуху: значит, дочь точно пошла на озеро.

«С кем вот только? Ну, не дай бог, если с этой лыжинской Лушкой. Погодите ужо у меня...»

Хлюпко бьется о доски желтая вода. Это не волны: озеро гладко и радужно сверкает под солнцем; это мощное ритмичное колебание всей водной массы, не приметное глазу в первый момент, но ясно ощутимое здесь, на помосте, где хозяйки полощут белье. Вода уходит вниз и вдаль едва приметной впадиной, обнажая зеленоватые осклизлые свай, обросшие хвоистыми водорослями, уходит, открывая темные вершушки крупных и гладких голышей возле самого берега, но через секунды, словно остановленная и двинутая обратно неведомой силой, устремляется без единой волны к берегу, оставляя на песке кружево лопающейся пены.

— Ой! — вскрикивает Любаша. У нее выскользнул из рук половик. Течение подхватывает его, и он плывет от мостков.

Андрей, раздевавшийся на берегу, бежит по горячему песку к воде, но Любаша опережает его. Сбросив на доски размокшие чуваки, прямо в платье она прыгает с помоста. Андрей высокими прыжками бежит по воде, но бежать дальше невозможно: вода — выше колен. Он ныряет и сразу же выскакивает на поверхность, потирая ушибленную о камень руку: место совсем неглубокое. Вода доходит до груди.

В стороне Любаша тянет к берегу намокший половик. Лицо и волосы ее влажно поблескивают.

— Тут мелко, никуда бы он не девался! — кричит Андрей, бредя по воде к Любаше.

— Утянуло бы в камыши, — отвечает Любаша, затаскивая — складка за складкой — половик на мостки.

Андрей принимается помогать ей.

— Идите, идите, купайтесь! — говорит Любаша, почему-то переходя на «вы». — Сейчас намыливать буду, вода грязная делается.

Андрей понимает, что Любаша стесняется прилипшего к телу тесного платья. Он отступает от мостков, взглядывая на Любашины плечи и шею, и замечает темный шнурок, выбившийся из-под мокрого воротничка.

«Так и не снимает крестик», — грустно думает он и тихо зовет:

— Люба!